

Николай Семёнов¹

**Белорусское пространство:
два автора, два человека, две судьбы**

Abstract

This essay is an attempt of comparative consideration of some features of life and professional paths of two very different and at the same time similar representatives of Belarusian intellectual elite – Vladimir Fours (alas, untimely deceased) and Vladimir Matskevich (our eternal oppositionist). The author tried not so much to draw once again attention to them, but proceeding from this experience to cast a glance at a today's intellectual situation in the republic, defining the challenges and lacunas which it faces.

Keywords: V. Fours, V. Matskevich, philosophy, thinking, personality, author, creativity.

Иногда – и довольно часто – желание и необходимость говорить сталкиваются с бессилием языка, его риторичностью и идеологичностью. Ты осознаешь, что твой язык не вполне адекватен ситуации, что он претенциозен – и со стороны это не может не выглядеть комично. А в чём обычная претензия многих «публичных мыслителей»? В том, чтобы быть или казаться очень умным, самым умным, слишком умным. Поэтому я не берусь оценивать современную «белорусскую философию». Всякая оценка частного лица субъективна. Но, положа руку на сердце, я без колебаний предпочту вновь прочесть Канта или Гуссерля, чем большинство наших белорусских авторов. Что, конечно же, печально. Но ведь настоящие штудии мировой философии у нас не пройдены. Быть может, лучше всего о «белорусской философии» говорит её истинный «вес» (фиксируемый, например, цитированием) в пространстве европейского мышления в целом. Он минимален и крайне скромнен. Но чем меньше ты значишь, тем больше амбиций и апломба у тебя может быть. Не лишне было бы осуществить работу по разборке и обратной сборке нашей коллективной и личных самоствей. А это как раз философская работа. Вместо этого, как мне кажется, в значительной степени доминирует риторика утверждения «национальной идентичности» и «обращения

¹ Николай Семёнов – кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения Института теологии им. святых Кирилла и Мефодия (г. Минск, Беларусь).

к национальному наследию». Я не против, но всё это как-то незаметно (или даже очень заметно) подчиняется идеологическим задачам. Но стоит напомнить: «Всякая история, которая начинается с изначальной невинности и отдаёт предпочтение возвращению к цельности, воображает драмой жизни индивидуацию, отделение, рождение самости, трагедию автономии, отпадение в письмо, отчуждение; то есть войну, умеряемую воображаемой передышкой на лоне Другого. Эти схемы управляются репродуктивной политикой, имеющей в виду возрождение без изъяна, совершенство, абстракцию»². Между тем современная наука, коммуникация, технологии и пр. ведут к фундаментальным трансформациям в структуре и организации мира; эти трансформации не отслеживаются и не подвергаются настоящему анализу. Дом, школа, рабочее место, больница, общественная арена, бюрократический аппарат, рынок, СМИ, военная сила, мультинациональные корпорации, политические процессы, терроризм, системы трудового и идеологического контроля, обработка нашего воображения и сами наши тела – всё это «топосы» возможного и должного философского осмысления. Они у нас фактически находятся в странном модусе отсутствия. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить слова Фредерика Джеймисона о «политическом бессознательном» господствующих культурных дискурсов. В их основе – «большие нарративы», от биологических и медицинских до юридических, философских и литературных дискурсов. И можно спросить, какое мышление, какой дискурс упрямо воспроизводят себя, снова и снова, хотя по видимости и в иных текстах, иных вариантах культурных повествований? То же касается и познания различий. Поскольку сети межчеловеческой коммуникации становятся беспрецедентно множественными и сложными, всякое построение тотальности или общей генеалогии будет основано на стирании различий. Значит, только частичные объяснения имеют оправдание. Правда, это провоцирует упование на силу маргинальности и некие загадочные «преимущества» письма «с чистого листа». А также на силу воображаемого. Но это сопряжённые полюса любого учения-и-ученичества: дисциплина и воображение, их одновременное культивирование. Чем наша школа никогда не отличалась. Тем временем возникает проблема, которую можно выразить так: «Как выстроить поэтическое/политическое единство, не полагаясь на логику присвоения, поглощения и таксономической идентификации?» (Д. Харауэй).

Я собираюсь здесь сказать о двух авторах, которых лично знаю. Поэтому сразу же – краткое замечание о самой фигуре автора и авторской доминанте. Мы не можем больше пробавляться постмодернистскими тезисами. К примеру, о «смерти автора». Налицо избыточность этих «смертных констатаций» («смерть» Бога, человека, автора, философии, истории и т. д.). Избыточность обесцени-

² См.: Харауэй Д. Манифест киборгов: технология и социалистический феминизм 1980-х гг. // *Гендерная теория и искусство. Антология: 1970–2000*. М., 2005. С. 361.

вает; «смерть» перестаёт быть чем-то серьёзным. Собственно, есть два предельных случая: автор не важен, а важна истинность (или важен сам текст); истинность не важна, а важно авторство, важно, кто сказал, написал и сделал. Но, как известно, под радикальное сомнение было поставлено равно и то, и другое. Любопытный – и показательный – пример: в своей книге *Вызывающее молчание* (ниже мы к ней обратимся) В. Мацкевич предваряюще нам сообщает: я – это одно, а автор – это другое, и ему «всё до фени». Кто же несёт ответственность за сказанное в тексте? Наивный вопрос – но почему мы должны пренебрегать таковыми? Я – Мацкевич, автор – Мацкевич (на обложке написано), а нас назойливо предупреждают – не перепутайте.

Попробуем построить «определение» Автора, руководствуясь его приверженностью и отношением к границе, а значит, тождеству-различию. Я знаю себя – и не знаю. Я знаю этого человека, общался и работал с ним – и я его не знаю. Этот парадокс, кажется, неразрешим. Поэтому фраза: «Да я знаю его как облупленного» – не только высокомерна и оскорбительна, но и лжива. Но если не знаю, то как могу говорить, писать об этом человеке, судить и оценивать его? Однако молчание тоже может быть оскорбительным; и умолчание есть род исключения. Так как же быть в таком случае? Собственно, это проблема взгляда со стороны; того, как нас видят со стороны и как мы видим других со стороны. Этот взгляд со стороны не может не «искажать» образ – именно потому, что он «со стороны». Он не может, оставаясь самим собой, не исказить «внутреннего» – либо вообще должен отрицать его. Отсюда – двусмысленность фразы «я тебя знаю»; в действительности она означает одновременно «я тебя знаю – и я тебя не знаю». Сохраняется трансцендентность Другого как его конститутивная особенность – но равно и его доступность. Другой – это сочетание доступности, трансцендентности и призыва. Мы упомянули о мышлении, а это не линейная последовательность и даже не диалектическая спираль, а своего рода плетение «сети» (или «сетей»). Последнее же равно и конституировано «обилием пространств и идентичностей и пронизанностью границ» (Д. Харауэй), и само конституирует таковое. Но два наших автора – В. Фурс (увы, преждевременно ушедший) и В. Мацкевич – демонстрируют очень разные стили мышления, представляя одновременно и разные школы.

Можно, я думаю, в общем плане сказать, что мышление Фурса было последовательным и аналитичным, а мышление Мацкевича напоминает не «плетение», но, скорее, резкие скачки – при том, что идеологически оно пытается выстраивать и репрезентировать себя как строго «методологическое». Но дух борьбы, который в нём живёт, требует неожиданных поворотов. Однако – какой парадокс! – они не могут преодолеть некую монотонность и предзаданность его мысли. Скажу так: дискурс Мацкевича часто претендует на ироничность, но как раз в этом плане он не очень удачный; дискурс Фурса – метонимический, культивирующий «соседство» к со-

бытию мысли. Отметим и феномен «монструозности», её присутствие-наличие в тексте. Ибо и впрямь разного рода монстры – в западном воображении – всегда определяли границы человеческого как такового и человеческой общины. В этом смысле, как кажется лично мне, Мацкевич всегда стремился к пребыванию на границе, ибо есть нечто радикальное и «монструозное» в нём самом, тогда как Фурс стремился скорее к «средоточию» и, видимо, желал (если осмелиться говорить о «желании другого») мыслить именно из «средоточия».

Два «невозможных места», ибо кому из человеческих существ дано постоянно жить «на границах» или «в средоточии» (всех «истин и тайн»)? Но попытка была – и подчеркнём ценность именно самой попытки. Почему же? Потому что она выявляет нашу ответственность за «границы» и «средоточия». Разделённость этих авторов не случайна; на определённом уровне она говорит о достаточно фундаментальном факте разделённости (в нашем социальном и политическом пространстве) критического анализа и политической практики. Между тем даже личное является политическим. В самом деле, один (Фурс) не стал политической, другой (Мацкевич) – признанно интеллектуальной фигурой. Эти две фигуры нельзя «сложить» вместе, но к ним всё же можно предъявить один общий упрек (к Мацкевичу в большей степени, чем к Фурсу). Это их то явная, то (что гораздо чаще) имплицитная ориентация на логические и философские структуры, так или иначе порождающие дихотомии, бинарные оппозиции (которые вполне можно найти и в неклассических текстах – от Ницше до Делёза и Лакана). Вряд ли здесь можно эксплицировать даже возможность той новой философской парадигмы, о которой одна феминистка сказала так: «Парадигма, интегрирующая множественность и не производящая бинарных оппозиций».

Размышляют о жизни то страстно, неистово, то холодно, отстранённо... Но этого мало, даже если размышляя о ней, одновременно размышляют и о смерти. А то поистине бесконечное время, когда твоей жизни ещё не было, не было даже в замысле? А то неведомое время, которое будет после твоей жизни? А те иные миры, в которых свершаются иные события, и ты никак и никогда не будешь к ним причастен? И всё-таки всё это неким странным, если не магическим образом примыкает к твоей жизни и несёт её; но и она, такая маленькая, хрупкая и быстротечная, несёт всю эту огромность и неведомость, жизнь каждого из нас. При всей предсказуемости многих наших действий есть в ней и разящая непредсказуемость. Я вспоминаю 4 июня 2009 года. Только что мне позвонили и сообщили шокирующую новость – сегодня утром умер Володя Фурс. Утром я читал – утром он умирал. Смерть другого – не твоя смерть; смерть другого – и твоя смерть. Между первым и вторым жизнь каждого из нас и «растянута». У него всё было впереди, а теперь он переступил черту, откуда не возвращаются. И только

сейчас задаёшь себе вопрос: каким же человеком, собственно, он был? Что в нём было особенно, хотя и не броско, притягательно? Я помню, как мне было не по себе, как мне было дико. Слова о том, что «все мы там будем», звучали как-то фальшиво. На самом деле я был исполнен чувства страха и непонимания. Я предавался риторическим размышлениям.

Жизнь сама по себе не связана принципом справедливости и волей милосердия. Хотя она и заключает в себе возможность неожиданного дара, удачи, везения – но вместе с неизбывной жестокостью. Она не благодарна, но щедра; вот только эта щедрость слепа и неразборчива. Всё это означает, что такие феномены, как справедливость, милосердие, благодарность и т. п., не являются сами по себе «естественными». И их будет в мире ровно столько, насколько мы сами решимся быть справедливыми, милосердными и благодарными. Иначе говоря, никто, кроме нас, не принесёт в этот мир Справедливость, Милосердие, Благодарность. Следовательно, именно мы и несём за это ответственность. Ранняя смерть – в то время, когда человек в самом расцвете своих сил, обрёл путь, готов к своим самым значительным свершениям, – несправедлива, немилосердна и неблагодарна. Но кого же тут винить? Судьбу? Но это не лицо; да судьба и вообще не подлежит суду, она сама есть «суд». Однако не над конкретным человеком, а над человеческим как таковым – человеческими планами, притязаниями, амбициями и т. п. Поэтому к рано ушедшим мы должны испытывать особую благодарность, и в свете этой благодарности устанавливается мера справедливости и милосердия к ним. Почему бы не сказать простые слова, идущие от сердца? Потому что речь идёт о философе, об уме, культивировавшем изощрённую, но и строгую критическую рефлексию; и потому что эти простые, идущие от сердца слова мы должны оставить самым близким. Только в этом случае они безошибочны, в иных же очень легко впасть в ложную патетику или в парадокс «искренней фальши» (а это не то же самое, что и фальшивая искренность).

Природа наших сожалений (сожалений, которые на самом деле не имеют рационального смысла). Например, мы говорим: «Он так много мог бы ещё сделать; как жаль, что этого уже не будет». Подоплёкой здесь является та неявная аксиома, согласно которой человек есть то, что он смог – успел сделать; человек измеряется сделанным. Я не хочу сказать, что это «ошибка», но это лишь одна из возможных точек зрения на человека, причём такая, при которой из него исключается – исчезает – таинство. Когда умирает человек, которого ты знал с какой-то особой стороны, тебе нет дела (первостепенного дела) до того, что он сделал, а что нет, что успел, а что не успел; недоумение и боль пронзают тебя не от этого и не по этому поводу. Речь идёт о самой личности, возместить и заменить которую нельзя и невозможно, а не об «успешности» или «неудачливости». У Фурса было непоказное, никогда не афишировавшее себя мужество отстоять то, что являлось для него важным и дорогим. При этом не

формальная, а всегда личная ответственность за соблюдение той пунктуальности, которая ничего общего не имеет с педантизмом, но является необходимым условием должной работы. Он действительно сделал себя сам, нашёл, открыл для себя свою тему и довёл её до той степени разработки, которая просто вынуждает признать его едва ли не единственным у нас в республике политическим философом должного уровня компетентности, интеллектуальной честности, ответственности и творческой силы. Печаль по поводу его безвременного ухода есть также и печаль обо всех нас, знавших его. Скажи мне, о чем ты рискуешь писать – и как рискуешь, а о чём писать не решаешься; какие темы поднимаешь, а какие обходишь – и почему; скажи мне – и я скажу, писатель ли ты. Мне отнюдь не всегда импонировал стиль письма Фурса, но в нём одновременно просвечивалась и его индивидуальность, и та трезвая отстранённость, которая необходима для учёного, способного выносить продуманные, «объективные и общезначимые» суждения. В нём чувствовался, так сказать, скрытый писатель.

Видимо, рано или поздно мы попадаем в ситуацию выбора «либо – либо»; того заострённого выбора, когда третьего не дано. (Впрочем, не дано именно в этой плоскости, этом измерении, а оно не тотально; отсюда – всегда сохраняющаяся возможность трансгрессии.) К примеру, выбор – в пользу приоритета жизни или творчества. В зависимости от этого выбора можно было бы обозначить четыре типа людей. Первый объединяет тех, кто отдаёт приоритет творчеству, подчиняя ему свою жизнь; назовём это «путём Гёльдерлина». Второй объединяет тех, кто отдаёт приоритет жизни, её более чувственным и доступным радостям, и они не готовы или не хотят жертвовать своей жизнью ради непосильных задач творчества; назовем это – ну хотя бы «путём Эпикура» (правда, это всё ещё возвышенный путь, есть и гораздо более низменный). Третий объединяет тех счастливицков, которые сумели привести творчество и свою жизнь к согласию, гармонии; назовём это «путем Гёте». Четвёртый объединяет тех, кто отказался и от всякого творчества, и от подлинной жизни; назовём это... путём «человека в футляре». Эта схема – конечно, в упрощённом варианте – следует принципу «идеальных типов» М. Вебера. Ну а политик? Он не отдаёт приоритета ни задачам творчества, ни задачам жизни (которая якобы является первейшим предметом его заботы). Он отдаёт приоритет Власти, её достижению и удержанию. Но это человек большой политики, конец которой (или вожаделенное ожидание?) и зафиксировал Ницше. Тогда, естественно, и творчество, и сама жизнь должны подчиниться интересу самой Власти и задачам властвования. А эти задачи никогда не являлись полностью отделыми от техник(и) Власти. Уже упоминавшийся Вебер отмечал превращение современной политики в особое «предприятие», в котором обязательны навыки в борьбе за власть, равно как и знание её методов. «Профессиональный политик» – это человек, сумевший сделать из политики доходный промысел – но одновременно он обеспечил себе

и некое идеальное содержание своей жизни («служение народу», «национальной идее» и т. п.).

Какой же экзистенциальный выбор сделал Владимир Фурс? Ведь в этом – загадка его личности. Смею предположить, что в пользу Дела-и-Мысли. Тут есть «точка пересечения» с В. Мацкевичем, для которого «мыследеятельность» есть, так сказать, привычная «вещь», или «состояние». Это диктовало ту обязательность Фурса, которая позволяла привычно полагаться на него, разрешая самому себе некоторую беззаботность. При том, что в работе Фурс всегда был требовательным. Он выработал в себе специфические качества, необходимые ему как философу, но оттенявшие его своеобразие и как человека. В своё время всё тот же М. Вебер говорил, что профессиональному политику необходимы страсть, чувство ответственности и глазомер. Главная проблема, по его словам, в том и состоит, как можно втиснуть в одну душу и жаркую страсть, и холодный глазомер. Я думаю, что у Фурса эта страсть была скрытой и умерялась его пунктуальностью. А присущий ему «глазомер» был «развёрнут» в плане придирчивой критической рефлексии. Что касается чувства ответственности, ему была присуща внутренняя раскованность, не подавлявшая его творческое воображение. Впрочем, я говорю о том времени, когда с ним общался. Относительно же его деятельности в Вильнюсе (ЕГУ) могу сказать лишь одно. При последней встрече с ним я ощутил в нём некую скрытую печаль. Мы вместе ехали в такси, он был молчалив и сосредоточен на чём-то своём и, вероятно, тягостном. А вскоре он умер. Остались его книги, остались его друзья, осталась память о нём.

У Владимира Мацкевича есть прекрасные работы, посвящённые методологии и философии педагогики. Собственно, последняя, если следовать С.И. Гессену, и есть прикладная философия. Но мы здесь остановимся на другой книге Мацкевича, в известном смысле необычной. Всё-таки такого рода текстов у нас не было. Я этот текст примериваю к себе, а надо бы – к другим. Дело в том, что у меня он не вызывает особого усилия и поэтому (весьма вероятно) я не вполне улавливаю то, чем же он особенно интересен. Он не бросает мне вызова. Но и что касается других... Вряд ли он может импонировать – я чуть было не сказал «большинству читателей»; как раз читателей у этой книги, как я полагаю, весьма немного. И можно спросить – почему? Но социальные и политические реалии нашей жизни делают этот вопрос риторическим. Впрочем, играют свою роль и особенности авторского стиля. Он выступает (не только в этой книге) как своего рода «белорусский оракул». Разумеется, речь идёт не о том оракуле, который на самом верху. Этот, напротив, пребывает в самом низу. Он, однако, сорвался совсем в иной жанр (чему есть и резонное оправдание, ибо без юмора и иронии, как заявлено в этой книге, никакого мышления и рефлексии не бывает) – сорвался, если хотите, одновременно и вынужденно, и добровольно. И хотя местами эта книга бывает и хлесткой, и интересной,

в ней обнаружили и все наши слабости. Весь наш провинциализм здесь налицо, лезет, можно сказать, из всех пор. Это не то, что пробуждает, мобилизует или шокирует национальное сознание, заставляя его перестраиваться. Хотя в пределах собственной тусовки книга, надо полагать, вызвала фурор.

Между прочим, не враги опасны для лидера, а адепты. Враги ему просто необходимы. Мацкевич и сам блестяще это показывает. Но также явственно подчас показывает себя и феномен политического пижонства, который может принимать разные формы. Здесь перед нами одна из них. Она играет в ёрничество, которое играет в отчаяние, которое играет в серьёзность, которая снова играет в ёрничество. Только не подумайте, что это какая-то замысловатая и изощрённая игра. Напротив, достаточно бесхитростная. В том смысле, что легко прочитываемая – и вовсе не в задаваемом ею ключе. Между тем я искренне уважаю и ценю этого автора. Автора, не без яростного пафоса выдвигающего такой императив: смотреть на себя глазами В. Быкова – чтоб найти в себе меру человеческого.

Обратимся теперь – как к показательному примеру – к книге В. Мацкевича *Вызывающее молчание*. (Показательными являются также и два предисловия к ней – М. Жбанкова и Г. Кислициной; приведу вам целый веер «характеристик» – да ещё каких! – из первого: «личное послание стране и миру», «докладная записка Всевышнему», «концептуальный партизан», «генератор смыслов», «невостребованный планировщик будущего», «Прогрессор» и «мастер мысли», занятый «делом подтягивания за уши электората до желаемого уровня нации». Если это ирония, то довольно пошлая и обидная; если же это всерьёз, то обидно вдвойне – и за автора, и за нас. Что касается невостребованности... Что ж, это так – и не в этом ли главная беда оппозиции?) Вообще интересно, как пишут нынче наши самые продвинутые оппозиционеры. Оказывается – «вызывающим молчанием». Только какое-то оно многословное. В авторском предисловии, охарактеризовав свой «реализм» импрессионистским – субъективным – а может, и постмодернистским, Мацкевич всё же заявляет: «Персонажи – не самое главное в этой книге. Важнее идеи. Идеи этики, религии, философии, политики, науки»³. Как видим – замах. Попутно – тоже предваряюще – излагается следующий императив: «Жить нужно в соответствии с теми идеями, которые человек разделяет, считает своими»⁴. Заметим, как это банально – вне контекста – звучит. Но важнее другое: идеи и принципы значимее лиц; так и большевики говорили. Правда, есть «уважаемое отличие», ибо автор (то есть Мацкевич, который и не Мацкевич) «смеётся над всем этим – над идеями, принципами, людьми. Смеётся над самим собой». Так он думает – и сразу извещает об этом других, над которыми тоже смеётся. Тотальность смеха – парадокс – не оставляет места самому смеху. Так что – утешьтесь, ибо

³ Мацкевич В. *Вызывающее молчание*. Мн., 2007. С. 17.

⁴ Там же. Далее в скобках указываются страницы данной книги В. Мацкевича.

«этот смех почему-то не уничтожает идеи и принципы». Совсем даже наоборот. То есть не «по-настоящему» он смеётся, раз опять призывает и требует «жить по идеям, следуя принципам». Опять они на первом месте – а нам между тем ушлые комментаторы говорят о «словесном карнавале». Что же это за идеи?

Одна из первых: «Плевать я хотел на приличия, когда дело касается действительно серьёзных вещей» (с. 20). Это, надо полагать, этика. Я думаю, всё же остроумней было бы сказать обратное: там, где дело касается серьёзных вещей, я особенно буду соблюдать все возможные приличия. Можно, кстати, заметить, что сегодня два основных тона – это исключительная «серьёзность» и, с другой стороны, ёрничанье. Серьёзное дело, правда, и приличия заставляют понимать иначе, не в таком смешном виде, как это рисует автор. Идея вторая: когда слова утрачивают своё значение, народ теряет свою свободу. Относительно «свободы» и «народа» не знаю, но конфуцианская концепция «исправления имён» налицо. Уже хорошо. «О чём ни зайдёт речь, всё понимается не то чтобы превратно, но совершенно неправильно» (с. 24). Мацкевич, таким образом, всё ещё держится за идею «правильного»; какой же это, господи, «постмодернист»? Идея третья: да, диалог, «вот только кого с кем?» – т. е. дайте «должного собеседника-мне-по-мерке». И в самом деле, как вести диалог с заведомыми лжецами нам, «святым людям» дела Партии? Мацкевич хочет сказать, что сегодня этот так называемый «диалог» фактически превращается в баррикаду, так что «предметом диалога может быть только замена баррикады круглым столом» (с. 30). Вероятнее всего, это действительно так, но заметьте, это то же самое, что сказать: «Предметом диалога должен быть сам диалог».

Идея пятая (мой счёт произвольный), почти что гегелевская: «Считаться с реальностью, но не забывать о действительности». Относительно их различия читателя оставляют в неведении. Между тем чрезвычайную философскую сложность вопроса может показать нам – ну хотя бы книга С. Франка *Реальность и человек*. Две вещи кажутся мне довольно забавными: «обличая» европейских друзей, Мацкевич так или иначе играет на руку властям, ничуть не меняя ситуацию; а занимая так или иначе позицию «обиженного политика» (пусть не вводит нас в заблуждение то, что эта обида выражена саркастически), он весьма напоминает своего злейшего врага, который тоже часто публично обижался, что его «не понимают» и что «всё не так, как должно быть».

Определил ли автор со всей возможной ясностью свой собственный политический топос? Есть ли в нём та политическая неожиданность и вместе с тем та реальность подвигающей(ся) тенденции, которые делают его хотя бы потенциально эффективным и востребованным? А это, между прочим, то, что уже не позволяет говорить «судорожным языком прошлого радикализма». Но именно такой язык и прорывается через раздражение автора: «Я, наконец, понял, сам для себя резонёрствуя, жанр этого текста. Я

этим текстом мочусь, т. е. я им писаю, помечая свою сторону баррикады. Я хочу быть на ней один, ну, в крайнем случае, с теми, кого сам приглашу на свою сторону, если они, конечно, согласятся. Меня раздражает бессмысленная толкотня на моей стороне несомоопределившихся людей» (с. 56). Но речь идёт о действительном «самоопределении» самого автора – который, однако, уверенно и без тени сомнения полагает, что давно «самоопределился» в отличие от других.

Вернёмся к теме диалога, к вопросу о том, что такое диалог. Понятна ирония – негодующая ирония – автора по поводу того, во что он у нас превращается, особенно под бдительным оком бюрократического аппарата. Но что такое диалог как таковой и как его выстраивать? Вначале нам предлагают довольно плоское понимание: это «когда разговаривают, спорят или нечто в этом роде» (с. 73). Верно, конечно, что если «нет свободы СМИ – нет диалога» (имеется в виду социально и политически значимый публичный диалог). Но это похоже на имплицитное требование, которое можно выразить так: обеспечьте нам сначала условия для диалога, а уж потом мы будем его вести. И совсем не необходимое следствие: «есть свобода СМИ – есть диалог» (там же). В этом и заключается проигрыш оппозиции – в неумении действовать в условиях, которые ей ничего не «обеспечивают». Я вообще рискну здесь высказать мнение, что у неё нет настоящего и своего языка «отрицания». Те, кто относит себя к оппозиции, либо «альтернативщики» (а альтернатива всегда связана с тем, альтернативой чему является, у неё нет «собственного»), либо «бунтари, готовые к соглашению на некоторых условиях». Поэтому они могут – в лучшем случае – лишь сдвинуть горизонт, но не изменить его; и не могут производить новых значений. Я думаю, можно только согласиться с Анмари Созо-Боэtti, сказавшей: «Идеологическое и обличительное содержание не может само по себе создать творческое высказывание». Что касается «диалога» в самой книге, то он скорее похож на многостраничный монолог; потому и утомителен. Далее, однако, понимание диалога усложняется: «Внешне мы видим двух людей, но уже знаем, что они как бы удвоены или раздвоены. Итого – четыре элемента обязательны для диалога. Одно действующее лицо и другое, а также, соответственно, исполнители упомянутых лиц» (с. 128). Это, конечно, делает богаче «игровое поле» диалога и, быть может, придаёт ему особую ауру – но это аура раздвоенности и двусмысленности, где отважиться на искренность невозможно при самой большой смелости, ибо искренность здесь невозможна, она иронически остраниена и отстранена.

Автор решителен; в этом смутном, вязком и лишённом чёткой определённости мире доксы он желает мыслить категориально. «А тому, кто категории понимать – понимает, а плевать на них хотел в силу отсутствия чувства прекрасного ... или совести, например, так ему – по лбу, поскольку это он точно понимает» (с. 114–115). Я умилён. Не смейте посягать на «чистоту категорий», вы, недоумки.

Одна беда – разное у них содержание, разное у разных авторов. У Спинозы субстанция – это вот что, а у Юма – совсем другое. Гегелевская спекулятивно-логическая категория «существования», стоящая ниже «действительности», ну ничего общего не имеет с «существованием» в смысле Паскаля или, допустим, Киркегора. Сам Мацкевич упоминает – как образец категориального мышления – Аристотеля и Канта. Но у Канта рассудочные категории ничего не значат без чувственных созерцаний. Или простой пример: время у Аристотеля – категория, а у Канта – априорная форма чувственного созерцания. Но это у Мацкевича едва ли не главное – «мыслить категориями». «А категории где?» (с. 119). Да, где же категории? Ясно где – в коммуникации (с. 120). Однако жанр этой книги направлен скорее на разрушение таковой. Кстати, ещё раз о жанре. Но сначала ещё одно замечание к категориям. Стоит обратить внимание на то, что у Мацкевича их критерий не столько логический, сколько эстетический («чувство прекрасного») и одновременно этический («совесть»). Это замечательно, однако возникает проблема их совместимости, ибо сегодня, как известно, они столь далеко разошлись, что часто выступают друг против друга.

Итак, жанр. Давайте отсеем все ухищрения жанра, все «синтагматико-парадигматические» конструкции сего текста – и поверим автору. Это я говорю насчёт только трёх вариантов продолжения действий, каковые Мацкевич усматривает и озвучивает на с. 108–109. Первый вариант: вы не въезжаете в понятия, не чувствуете контекста – и вам популярно объясняют, что же это такое «диалог» (хотя ведь диалог – не объяснение). Второй вариант: вы схватываете понятия и удерживаете в коммуникации, а это значит, что способны следить не только за своей мыслью, но и за мыслью собеседника, являя со-мыслие. Третий вариант: мысль схвачена, но вам на неё плевать, «вы всё равно за своё цепляетесь и дурью маетесь»; тогда приходится фиксировать двойное: вам неведома интеллектуальная честность – и вам неведома интеллектуальная красота. Что ж, может быть, наш автор и прав.

Вероятно, политически самая важная часть в книге – это приложение № 1, где Мацкевич (отмежевавшись от «авторства») ставит четыре ключевых вопроса и даёт на них ответы: чего от нас ждут? чего мы хотим? что мы можем? что мы должны? И здесь-то обнаруживается изнанка его остроумия и полемического задора, иронии, эрудиции и пр. И эта изнанка по-своему удручающая, ибо перед нами один из самых умных (не потому ли и невостробованных?) деятелей оппозиции. Почему же? – Потому что в его ответе присутствуют только общие рассуждения, переплетённые с советами, моральным пафосом и тоном то проповеди, то призыва; отсутствуют как раз неожиданные решения, способные поставить власть в тупик, трансгрессивные в отношении собственного дискурса и пружин стратегий. Но подчеркнём и исключительную важность вопроса о конституционных противоречиях, где автор конкретен и вполне ясен.

Два очень талантливых человека, которыми могла бы гордиться наша страна. Меня всегда поражала самоотдача обоих и огромная работоспособность; их умение совмещать творчество и служение, теоретическую рефлексию и тот или иной – политический, педагогический и т. д. – вид праксиса. Например, В. Мацкевич не только пишет книги, он создал Агентство гуманитарных технологий, разрабатывает проекты высшей школы, организует семинары, участвует в политической борьбе. Но почему такая парадоксальность его судьбы, которую можно было бы определить как непризнание в признании, невостребованность в востребованности? А почему такая трагическая судьба В. Фурса, такая неслучайная случайность его преждевременной смерти? Что-то неблагополучно в нашей стране, если мы позволяем пренебрегать такими людьми, позволяем им уходить – то в маргинальные сферы жизни, а то и в саму смерть.

И ещё: стоит сказать о том, чему я у них научился. Человек во многом определяется этим – чему он смог или захотел тебя научить и чему ты смог у него научиться. Важно не то, что ты знаешь нечто, а то, как ты это знаешь. Есть истины, которые мы все знаем, но не так, как надо; и они выглядят для нас банальными, мы не замечаем их свежести и разящей силы. Мы знаем их, но не так, как следовало бы знать, как они бытуют сами в себе. Так и с людьми; я знаю этого человека, но я знаю его не так, как надо. Отсюда – парадокс; да, я знаю его – и я его не знаю. Примерно таково мое отношение к Владимиру Фурсу сегодня. Его присутствие стало иным и высветило в нём нечто такое, чего раньше я не замечал – или не считал нужным замечать. Прежде всего то исследовательское отношение к предмету его занятий, которое отличала серьёзность, но без какого-либо важничания, ответственность, но не лишённая скрытого юмора, и некое прямо не высказываемое, ненавязчивое приглашение к со-мышлению. Что касается Владимира Мацкевича, то учиться у него трудно, поскольку учиться приходится своего рода принуждению к мышлению. Из принуждения рождается независимость и свобода – как её (независимости) высший продукт. Так что возможен парадокс, имеющий и политические следствия: вы независимы, но ещё не свободны.